

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ВАДИМ КОЖИНОВ

### Глава 15

#### Борьба продолжается

(продолжение)

1968 год считается в нашей истории “концом оттепели”. Это выражение стало своего рода клише. Мнение сравнительно небольшого круга людей стало определяющим для исследователей более поздних времён.

Атмосфера того года не имеет ничего общего с примитивной схемой, вдолбленной в умы моих соотечественников: “оттепель”, сменившаяся “заморозками”... Время на самом деле круто менялось. Но качество этого изменения было совершенно иным. Эти три года – 1967–1969 – были крайне насыщены событиями, позднейшие интерпретации которых антагонистически противоречили (да и поныне противоречат) друг другу.

Впрочем, обо всём по порядку...

\* \* \*

... В бывших кельях Высокопетровского монастыря, где обосновался Литературный музей, стали регулярно проводиться собрания людей как относительно и совсем молодых, так и старших поколений. Это были заседания “Комиссии по комплексному изучению русской культуры” при Московском отделении ВООПИК, в просторечии именуемой “Русским клубом”. Об этой организации уже существует целая “научная”, точнее сказать, псевдонаучная литература. Поэтому лучше обратиться здесь к воспоминаниям непосредственного (и бескорыстного) участника событий. Вот как вспоминал о тех собраниях и самом составе активистов клуба писатель Дмитрий Анатольевич Жуков:

“... В 1966 году было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. В его структуру входила секция пропаганды, которую возглавлял химик, академик Игорь Васильевич Петрянов-Соколов. При нём – бюро из двух десятков замечательных личностей... Это пожилые писатели Олег Волков (дворянин благородной внешности, настрадавшийся в лагерях) и Валентин Иванов (автор замечательных исторических романов “Русь изначальная” и “Русь великая”)... (К слову – над “Русью изначальной” Иванов ещё работал в то время, а за спиной у него уже было изъятие в конце 1950-х

---

Продолжение. Начало в №1-7, 9 за 2019 год, 1-5, 7-12 за 2020 год, 1-2 за 2021 год.

из продажи романа “Жёлтый металл” — власть не потерпела изображения грузин и евреев как спекулянтов золотом.) . . . Молодые тогда Лариса Васильева, Сергей Высоцкий, Вадим Кожин, Святослав Котенко, Анатолий Ланщиков, Олег Михайлов, Пётр Палиевский, поэт Валентин Сидоров, архитектор и реставратор Михаил Кудрявцев, художники Николай Пластов и Сергей Шапошников, университетские люди, военные издатели. . .” К вышеперечисленным стоит добавить имена посещавших собрания Анатолия Никонова, историка Сергея Семанова, главного редактора журнала “Техника — молодёжи” Василия Захарченко, критика и публициста Виктора Чалмаева, литераторов Евгения Осетрова и Александра Байгушева.

Эти заседания посещал и будущий руководитель секцией литературных связей Востока и Запада в Российском Палестинском обществе при Академии наук СССР, а тогда совсем ещё молодой поэт Николай Лисовой. В 1967 году, размышляя о полувековом юбилее Октября, он написал аллегорическую поэму “Двое из Эфеса” — о Гераклите и Герострате, — напечатанную два десятилетия спустя.

*И забыв, что в светлых датах  
Бог всегда темнит,  
Ждёт последних Геростратов  
Тёмный Гераклит.*

Потом он вспоминал о виденном и слышанном в бывшем Высокопетровском монастыре:

“Секция пропаганды” . . . организовала так называемые *вторники*, где выступали с докладами писатели, архитекторы, скульпторы, искусствоведы и т. д. То есть возник некий салон, клуб. . . объединивший национально мыслящую московскую интеллигенцию. Если я не ошибаюсь, курировал эту секцию журналист, писатель Иван Андреевич Белоконов. В ядро секции входили искусствовед Владимир Александрович Десятников (очень хороший, чистый человек, который с азартом занимался и спасением древнерусской архитектуры, и ростовскими колоколами, и организацией выступлений в печати), Тамара Александровна Князева (на ней, насколько помню, лежала основная забота по проведению вторников), скульптор Сергей Дмитриевич Шапошников. . .

И вот в один из таких вторников были приглашены тогда ещё молодые Вадим Кожин и Пётр Палиевский. Кожин говорил о славянофилах, а Палиевский, кажется, о Розанове. Вот тогда мы и познакомились. Мне шёл 22-й год. . .”

На самом деле и Кожин, и Палиевский (как один из руководителей) посещали собрания каждый вторник, но важно, что Лисовой вспомнил здесь именно об этих докладах, прочитанных ими.

“Постепенно вместо “Вторников”, — послушаем снова Дмитрия Жукова, — привилось устное название “Русский клуб”, нынче мелькающее в мемуарах, справочниках и даже в энциклопедиях. Меня уже спрашивали, кто из лиц влиятельных “курировал” заседания, подразумевая, что в самом слове “русский” уже содержалась крамола. Да и мы как-то не задумывались над этим, потому что были патриотами, и дороже благополучия Родины для нас ничего не было. Однако, дабы избежать провокаций, был установлен порядок представления каждого нового члена клуба двумя ранее присутствовавшими на его заседаниях. Для этой же цели кордон из студентов не пускал подозрительных одиночек, и всё, что говорилось, записывалось двумя стенографистками. . .”

Читаешь — и тут же спрашиваешь себя: где теперь эти стенограммы, этот бесценный архив? Сергей Семанов, кстати, через много лет сетовал на отсутствие каких бы то ни было подробных записей произносившихся в стенах Высокопетровского монастыря докладов и сообщений. . . Если в самом деле были стенографические записи, потом утраченные, то эта потеря тяжелейшая и невозполнимая. Тем более, как вспоминал Жуков, “всё обсуждалось подробно и страстно. Помнится, доклад о Флоренском делал его внук. Очень много спорили на тему о влиянии петровских реформ на развитие русской культуры. Выезжали с докладами в другие города. . .”

Кстати о “подозрительных одиночках”. . . Не знаю, кого из них имел в виду Жуков, но отдельные “одиночки” так или иначе проникали на заседания.

В частности, недавно освободившийся из заключения бывший оратор на собраниях у памятника Маяковскому и “антисоветчик” Владимир Осипов или человек со сложнейшей и противоречивой биографией, также бывший зек Феликс Карелин... Осипов вспоминал об одном из тематических заседаний: “Я помню знаменитую дискуссию о расколе. Были сторонники Аввакума, были противники Аввакума, но и те, и другие были патриоты. Это была дискуссия патриотов между собой, без единой марксистской формулировки, без единого марксистского тезиса, будто марксизма не существует. Но анти-советских заявлений, разумеется, не было”.

Их и не могло быть, и не “страха ради иудейска”... Вот уж чего в “клубе” не было – того не было. А было естественное желание докопаться до истины, выявить и определить корни многих исторических и современных нестроений в родном Отечестве. Никто не собирался показывать власти “фигу из кармана” или вносить в собрания дух ненавидимой всеми подпольщины. Кстати сказать, многие участники “Русского клуба” искренне считали своим союзником Александра Солженицына – не только на основании прочитанного в “Новом мире” “Захара-Калиты” или ходивших по рукам перепечаток его неопубликованных “крохоток” вроде “Молитвы”, “Пасхального крестного хода” или “Путешествия вдоль Оки”. В споре о языке Аввакума, столь резко отличавшемся от языка литературных произведений послепетровской эпохи, неизбежно вспомнилась сравнительно недавняя дискуссия в “Литературной газете”, где Солженицын в заметке, озаглавленной “Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана” резко ответил академику Виноградову: “Наша письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала: и в своём словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе... Я так понимаю, что, быть может, настали решающие десятилетия, когда ещё в наших силах исправить беду – совместно обсуждая, друг другу и себе объясняя, а больше всего – строгостью к себе самим. Ибо главная порча русской письменной речи – мы сами, каждое наше перо, когда оно поспешно, когда оно скользит слишком незатруднённо.

Умел же и проверим его бег! Ещё не упущено изгнать то, что есть публицистический жаргон, а не русская речь. Ещё не поздно выправить склад нашей письменной (авторской) речи так, чтоб вернуть ей разговорную народную лёгкость и свободу”.

Валерий Ганичев через много лет описывал происшедшее по следам заседания, посвящённого огнепальному протопопу: “Мы пошли ещё дальше, предложив участвовать в возрождении и других храмов (пока как памятников культуры), а также очагов культурного наследия, назвав Холмогоры и Пустозёрск, где пребывал в заключении протопоп Аввакум. Ну, это было уж слишком! Марина Журавлёва (секретарь ЦК ВЛКСМ) прибежала со старой энциклопедией (видимо, это был 1-й том “Литературной энциклопедии”, вышедший в конце 1920-х. – С. К.): “Вот, смотри, он поп, да ещё мракобес”. Я успокаиваю: “Он один из лучших русских публицистов и ораторов, и вот почти для вас написано: “Борец с царским режимом”. Павлов успокоил её, нам сказал: “Плодотворно. Работайте дальше, но главное, поход по местам боевой славы”.

Так состоялся один из походов “по местам боевой славы” Владимира Десятникова, который он описывал в своём дневнике: “18 сентября 1967 г. Пятидесятилетие ссылки в Тобольск в 1917 году Николая II с Семей мы с Галей решили отметить посещением этого, некогда губернского, города – столицы Сибири, а затем проделали путь на Голгофу, каким взшла на неё царская Семья, под арестом привезённая в 1918 году в Екатеринбург. На свои деньги нам это паломничество было бы не под силу. Мы обратились за помощью к В. Н. Ганичеву (ЦК ВЛКСМ). Всего мы ему раскрывать не стали. Думаю, он сам понял и поэтому командировал нас с узкопрактической целью: описать боевой путь Ермака на Иртыш, чтобы разведанный нами маршрут можно было включить в число комсомольских походов “по местам боевой и трудовой славы”, как сказано было в заявке в обоснование нашей командировки”.

Павлов доживал свои последние месяцы на посту первого секретаря ЦК ВЛКСМ. В июне 1968 года он был перемещён на должность руководителя

Спорткомитета при Совете министров. “Молодая гвардия” осталась даже без номинального “прикрытия”, не говоря уже о “Русском клубе”, о подлинном содержании которого Павлов, судя по всему, не имел никакого представления.

А в это же время...

В среде, кичащейся своим “свободолюбием” и “демократизмом”, о русском товариществе (кстати вспомнить здесь гоголевского “Тараса Бульбу”) распространялись недостоверные и достаточно мерзкие слухи. Причём ненависть здесь временами просто зашкаливала.

Из дневника Александра Gladkova 1964 года: “20 июня. Коля <Н. В. Панченко> рассказал о группе “русситов”, куда его затягивал этот Глазунов. Это полускрытая литературная группировка – не совсем “кочетовцы”, но близко: националисты, консерваторы. Во главе их будто бы Солоухин”.

Никакого “Русского клуба” ещё не было в помине. Но само по себе существование некоей “группы русситов” (названьице-то каково!) виделось чем-то явно ненормальным и ассоциировалось не иначе, как с дореволюционным “черносотенством”... Впрочем, тогда её, как видно, ещё отличали от “кочетовцев”. Ныне, ничтоже сумняшеся, их соединяют в многостраничных фолиантах в некое единое целое, более того, выводят их появление из среды “Софронова-Бубеннова-Грибачёва”, из времени “борьбы с космополитизмом” (даром, что ни один из поименованных литераторов ни разу не появился в стенах Высокопетровского монастыря и вообще участники литературных сшибок конца 1940-х старались держаться как можно дальше от молодой патриотической поросли).

Поэта Николая Панченко я помню очень хорошо. В самом начале 1960-х он тесно дружил с моим отцом (помнится, они вместе даже строили на берегу Москвы-реки яхту с символическим названием “Адам”). Со временем отношения начали расстраиваться (Панченко породнился тогда с семьёй Виктора Шкловского) и, в конце концов, расстроились совсем именно по причине тесного сближения Станислава Куняева с Вадимом Кожинным и кругом его друзей. Панченко явно решил, что его бывший товарищ “дрейфует не в ту сторону”. Так что удивляться этим разговорам в квартире известного драматурга (по экранам только что с успехом прошёл фильм “Гусарская баллада” по его старой пьесе “Давным-давно”) не приходится.

Но это ещё, как говорится, “мягкая подстилка”. Григорий Свирский, прозаик никакой, но “скандалист выдающийся”, по выражению Владимира Бушина, распространял сплетни, что “Русский клуб” – это “изделие КГБ”. Ладно, что взять с убогого... В редакции “Нового мира” велись ещё более интересные разговоры. Заместитель Твардовского Алексей Кондратович вспоминал о приходах в редакцию бывшего работника ЦК и редактора отдела литературы и искусства “Правды” Георгия Куницына: “Он приносил мне свои статьи – сумбурные, но с неожиданно смелыми выпадами. Я с большим любопытством посматривал на него и слушал... А говорил он об интересных вещах... В Москве, на Петровском подворье, там, где сейчас располагается Музей русского прикладного искусства, регулярно под маркой Общества по охране памятников старины собираются молодые неославянофилы (прозвище уже было в ходу. – С. К.)... По их концепции, русский национальный дух особенно полно проявился в Достоевском, в его речи на открытии памятника Пушкину в Москве. Это была кульминация, высшая точка. А дальше – спад. Увлечение символизмом, упадок влияния почвеннических взглядов и вторжение Запада. Прежде всего, в виде марксизма. Ленин со своими явно прозападными (марксистскими) взглядами нанёс большой урон русскому национальному самосознанию. От него, как говорится, все нынешние блохи. Сталин попытался воспрепятствовать усилению чуждого русскому духу западного демократизма, но, к сожалению, не смог до конца довести эту полезную работу. Вот оно ведь как!.. Я ещё не раз слышал потом о заседаниях на Петровском подворье, пока его, году в 69-м, всё же не прикрыли (Кондратович года на три уменьшил жизнь “Русского клуба” – и не случайно! – С. К.). Всё, конечно, обошлось... Охотничьи взгляды и замашки никогда не вредили государству и часто в прошлом были поощряемы...”

В этой записи есть любопытные моменты. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что Куницын пересказывал услышанное на Петровке как очевидец всего происходящего. И это говорит о следующем: не так уж оберегали свои собрания от посторонних члены “клуба”, как потом об этом рассказывалось – да, судя по всему, и не видели в этом особой нужды (соблюдая

осторожность лишь по самому необходимому минимуму). В этой связи встает интересный вопрос: по каким еще кабинетам ходил Георгий Куницын, рассказывая о собраниях “клуба” в своей интерпретации?.. Тут же таянет произнести знаменитое крыловское: “Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?..” — памятуя всех, кто вальяжно или с едва прикрываемой (а то вовсе не прикрываемой) злобой рассуждал о “покровительстве”, оказываемом властями “новым славянофилам”. И здесь самое время послушать свидетеля достаточно объективного — Дмитрия Михайловича Урнова: “Когда я приобщился к литературному миру, то увидел раньше меня увиденное и описанное Вадимом (Кожинным. — **С. К.**): писательская среда затягивала и обрабатывала присяжных руководителей литературной политики, им нашёптывали решения, которые до нас доходили волей властей. Связанные с литературным миром (иногда родственными узами), партаппаратчики были опутаны сетями групповых интересов и, сами наслушавшись, продолжали пласти те же сети. От этого симбиоза возникло смешанное потомство партаппаратчиков и протестантов, из бунтарей и блюстителей сложилась среда, страдающая *пустоутробием* (определение, данное Михаилом Лифшицем)”.

Не менее интересна и реакция Кондратовича: само собой, он не мог слышать (тогда!) ни одного доброго слова в адрес пушкинской речи Достоевского — ведь 5-6 лет тому назад сам Твардовский (непосредственный начальник Кондратовича) на торжественном заседании в Большом театре, посвящённом пушкинскому юбилею (125 лет гибели поэта), назвал речь Достоевского “реакционной” (он набросился на Достоевского, переча Виктору Владимировичу Виноградову, который перед этим назвал речь “гениальной”). Конечно, совершенно непереносим для него любой косой взгляд, брошенный в сторону Маркса, — для Твардовского и его команды главной задачей в идеологическом плане было “отстаивать подлинный марксизм” (точнее, карикатуру на него, мало чем отличающуюся от карикатуры, рисуемой в высоких идеологических кабинетах: там настоящего Маркса давно не читали, а в “Новом мире” не появилась — и в этом нет никакой случайности! — ни одна работа Эвальда Ильенкова). Тем более непереносимо было любое упоминание в отрицательном контексте имени Ленина (совсем недавно на страницах “лучшего журнала” торжественно отмечалось 60-летие публикации статьи “Партийная организация и партийная литература”). Но самое замечательное в связи со всем этим — обвинение в “охотничестве”, абсолютно в унисон как с официальными лицами, так и с либералами “диссидентского” толка.

В том же “Новом мире” уже знакомый нам Александр Лебедев печатал совершенно доносную рецензию на роман великого фантаста Ивана Ефремова “Лезвие бритвы”. Леонид Рабинович, писавший под псевдонимом “Волынский”, ветеран Великой Отечественной, принимавший участие в поисках Дрезденской картинной галереи, разносил по кочкам книгу Ильи Глазунова “Дорога к тебе”, опубликованную в “Молодой гвардии” (он же в своей книге “Лицо времени” в духе самого времени и с полным непониманием того, о чём он пишет, изничтожал русских иконописцев, поднимая рядом с ними на недосягаемую высоту европейских живописцев эпохи Возрождения. То есть сопоставлял несопоставимое). Впрочем, недалеко была дистанция от примитивных публицистических наскоков до изощрённых умствований “подпольных философов” вроде Григория Померанца, который писал на рубеже 1967-1968 годов эссе с характерным названием “Человек воздуха” (ставшее потом “Человеком ниоткуда”): “...Шум про святую Русь не повредит, скорее даже сгодится, покамест как брусничное варенье к военно-патриотическому цыплёнку, а со временем, может быть, и ещё для чего-нибудь, как неофициальная разведка очередного официального погрома... Казалось бы, всё это мерзость. Однако за короткое время к Глазунову примкнуло несколько не лишённых таланта людей: Солоухин, Кожин, Палиевский, Чалмаев... И здесь платформа, занятая Глазуновым, представляет собой драгоценную находку. Она позволяет и личность соблюсти, и выгоду слизнуть. Потому что оппозиция глазуновского типа — единственная, которая не обещает никаких серьёзных неприятностей...” Интересно, о каких неприятностях для русских патриотов мечтал Померанец? О тюремной решётке? О лагерной баланде (вкус которой познал он сам)? Исключать подобные сладостные мечтания нельзя, ибо дальше он с упоением пересказывал грязную сплетню, шуршащую по закоулкам бывшего Горьковского особняка на улице Воровского: “Стоит заметить, что некоторые новоявленные

русские почвенники были выращены знаменитым провокатором Эльсбергом. Когда его после XXII съезда пытались исключить из Союза писателей и выгнать из ИМЛИ, будущие ревнители православия и народности ходили по Институту мировой литературы собирать подписи в защиту учителя. Можно ли хоть на минуту представить себе Хомякова или Киреевского учениками Булгарина, более того – собирающими подписи под адресом в честь разоблаченного агента?” Почти через четверть века эта ложь, нашедшая место на страницах открытой печати, заставит Кожина обратиться в суд со справедливым требованием опровержения.

Масштабы упований Померанца были, кстати, нешуточные. Один финал его “эссе” дорогого стоит: “То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство. Это мещанство хочет называть себя народом, подчинить себе интеллигенцию, заставить её относиться к себе как к норме или образцу... Потому даже с величайшей, глубочайшей точки зрения, на которую иногда становятся народники, нельзя проклинать бич Божий, истребляющий народы. Народы должны преобразиться, ветхий Адам должен умереть, чтобы родился новый”. Пройдут два с лишним десятилетия – эти “заклечения гордого ума” вылезут из “подполья” и станут своеобразной программой действий для “людей из воздуха”... Ещё один такой же “воздухоплаватель” Андрей Амальрик примерно в это же время в эссе “Просуществоет ли Советский Союз до 1984 года?”, отталкиваясь от ходящего в списках русского перевода весьма своеобразно понятого романа Джорджа Оруэлла, писал с явной опаской: “Идеология великорусского национализма... уже формируется в обществе, прежде всего, в официальных литературных и художественных кругах (где она, видимо, возникла как реакция на значительную роль евреев в советском искусстве), однако она распространяется и в более широких слоях... для неё характерен интерес к русской самобытности, вера в мессианскую роль России, а также крайнее пренебрежение и вражда ко всему нерусскому. Поскольку эта идеология не была непосредственно инспирирована режимом, а возникла спонтанно, режим относится к ней с некоторым недоверием, однако с большой терпимостью – и в любой момент она может выйти на авансцену”.

Если опустить намеренно клеветническую фразу о “пренебрежении и вражде ко всему нерусскому” (впрочем, это быстро стало общим местом, как в иных партийных так и иных литературных кругах), то здесь интересны два момента: констатация безусловного факта спонтанного, а не инспирированного возникновения “опасной” идеологии и нешуточное опасение того, что “в любой момент она может выйти на авансцену” – и тогда уж Советский Союз, безусловно, просуществоет и до 1984-го года, и далее, что “подпольных философов” чрезвычайно тревожило.

Члены “Русского клуба” не могли не ощущать, не видеть подобных настроений в окружающем их “интеллигентном сообществе”. Их пристальное внимание к истории имело самое непосредственное отношение к гжучим проблемам современности.

\* \* \*

В изданной уже после смерти Кожина псевдонаучной монографии “Русская партия и движение русских националистов в СССР. 1953–1985” её автор ничтоже сумняшеся утверждает следующее: “Судя по тому, что ни один из прочитанных на заседании докладов впоследствии не был перепечатан даже в подконтрольных русским националистам изданиях, их научная ценность была не очень велика, а публицистический пафос актуален только для своего времени”. В общем, этот тот самый случай, когда наглость, порождённая ощущением всезнайства и в придачу смешанная со стремлением унижить крайне ненавистных автору (эта ненависть камуфлируется на протяжении всего шестисотстраничного тома, но в отдельные минуты – как сейчас – автор не выдерживает) деятелей русской культуры, совершенно застит учёному товарищу глаза. Мало того, что совершенно ни к селу ни к городу и в названии фолианта, и почти на каждой его странице он бомбит ошеломлённого читателя по голове словосочетанием “русский национализм”, он, похоже (при всей своей назойливо демонстрируемой информированности), не имеет понятия о самых элементарных вещах. В частности, о том, что многое из прочитанного

и обсуждённого на заседаниях “Русского клуба” потом находило своё место на страницах не только “Молодой гвардии” (“подконтрольной”), но и “Вопросов литературы”.

Стенограммы докладов, как я уже говорил, скорее всего, не сохранились. Но обсуждаемое не пропало втуне. Так, Виктор Чалмаев публиковал в “Молодой гвардии” статьи “Философия патриотизма” и “Великое наследие” (к юбилею Горького) на основе сообщений в благородном собрании. Потом эти статьи были ошельмованы журналом “Юность” в инвективе Владимира Воронова с соответствующим заголовком — “Заклинания духов”.

Здесь заключалась одна любопытная тонкость.

Главный редактор “Юности” Борис Полевой, сменивший на этом посту в 1962 году Валентина Катаева, кажется, приходил в натуральное бешенство, когда слышал слова “русский дух” или “русская история”. Именно от него пошло по литературному закусью словечко “гужееды”, которым он характеризовал авторов “Молодой гвардии”. Лексикон Воронова вызывал в памяти газетные статьи времён антирусского погрома конца 1920–начала 1930-х годов: “Зачем же доходить до русопятства? Право, зря заклинатели вздыхают о “загадке” России, об избраннической доле русского народа. Они словно не знают о социалистическом мировоззрении современного русского (равно как украинского, белорусского, грузинского, любого другого) советского человека, что и приводит их в таких случаях к размыванию принципов пролетарского интернационализма”.

И едва ли стоило удивляться подобному выпадку (у авторов никоновского журнала была соответствующая “симпатия” к “Юности”), если бы не одна тонкость: Воронов нападал на Чалмаева, но в большей части статьи приводил цитаты, содержащие слова “дух” и “духовность”, из работ... Михаила Лобанова.

Зачем понадобился этот камуфляж? Рискну предположить, что Полевой внутренне поостерёгся впрямую задеть ветерана Великой Отечественной (возможно, для автора “Повести о настоящем человеке” воевавшие люди обладали определённой “неприкосновенностью”). Может быть, был определённый расчёт на то, что Лобанов поймёт “намёк” и уgomонится сам. Но Лобанов не уgomонился.

В 4-м номере журнала появляется его новая статья (он и так уже “достал” нашу “передовую интеллигенцию” своими размышлениями о русской традиции и русской духовности, в которых ревнители прогресса видели нечто “замшелое” и крайне “несовременное”) — “Просвещённое мешанство”. То, о чём Михаил Лившиц писал как о проблеме теоретической (с выходом в политику), у Лобанова обрело сугубо жизненные и зримые очертания.

И начал Лобанов с того, что, вспомнив “гитарно-гуманную песенку” Булата Окуджавы “Полночный троллейбус”, привёл его яростное письмо, напечатанное в “Труде” и адресованное журналистке — автору рецензии на фильм по сценарию популярного исполнителя своих песен — “Женя, Женечка и “Катюша”. С трудом сдерживая ненависть, Окуджава отрицал “прохладный приём” фильма зрителями, о котором писала эта женщина, и заявлял: “Не знаю, подлежат ли Ваши действия суду, но поверьте мне, что на всех своих выступлениях я буду широко знакомить публику с этим фактом... чтобы в редакциях упоминание Вашего имени ассоциировалось с подлогом”. Лобанов увидел в этом послании нешуточную угрозу и весьма тревожный знак: “Даже как-то страшно: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки...”

Михаил Петрович едва ли подозревал тогда, насколько он близок к истине. Олег Михайлов через много лет вспоминал о своём разговоре с Окуджавой в Куйбышеве в 1964 году, где “гвоздём программы был, конечно, Булат Окуджава и его песни”. Михайлов упомянул в разговоре с ним о своём друге Дмитрие Ляликове, который как-то обронил, что когда на Кавказе (где он вырос) слышали, что Сталин якобы убил Кирова, то начали относиться лучше к Сталину, ибо слишком хорошо помнили кровавые подвиги Кирова в тех местах. Окуджава переменялся в лице, а потом в его голосе прорезались металлические нотки:

- Этого человека (то есть Ляликова. — С. К.) нужно расстрелять.
- Олег Николаевич сначала решил, что ослышался.
- Это почему же? — спросил он, ещё до конца не веря своим ушам.
- Окуджава был непреклонен.
- С Кировым работала моя мама.

И дело было не в маме, отсидевшей в своё время свой срок. Дело было в том абсолютно серьёзном и неукоснительном желании “расстрелять”.

Тут же вспомнилась исполнявшая под восторженные аплодисменты зала песенка о комсомольской богине (очевидно, всё о той же маме), у которой “привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре”. Кажется, Окуджава жалел в ту минуту, что его пальцам не к чему прикоснуться.

... Да, Лобанов этого не знал и не слышал. Но не зря и не случайно в процитированном письме популярного стихотворца и певца он уловил завуалированную нотку этого самого “расстрелять”.

И, отталкиваясь от этого вроде бы частного случая, перешёл к анализу того явления, которое и назвал “просвещённым мещанством”.

Не таким уж безобидным оказывалось это явление под его пером. И самое интересное: ругательное словечко в устах какого-нибудь неумолимого “прогрессиста”, презирающего “косную массу”, возвращалось к нему самому. И очерстания портрета нового мещанина становились всё более и более угрожающими для окружающих.

“Мещанство своё дело делает. Оно считает себя в курсе всех современных наук и мировых прогрессов. Оно ужасно любит остренькое в науке – пересаженное сердце, летающие тарелки (которые должны быть непременно посланцами с других планет), оно любит порассуждать о физиках и лириках, о какой-нибудь электронной теории бессмертия и т. д. Такое просвещённое мещанство быстро поставит на место патриархально-отсталого Л. Толстого... Не имея собственных мыслей, мещанство делает плоским всё, к чему ни прилипнет. Даже великие мысли, великие имена забалтывают, гениальную индивидуальность пытаются заклеить особым словом, уничтожающим значение подвижничества мысли великого человека. Руссо – “руссоизм”, Толстой – “фатализм”, Есенин – “есенинщина” и т. д. У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство – всё мини. И Родина для них – мини...”

Это ещё можно было бы перенести. Отругаться, переходя на личность критика. Но дальнейшие обобщения Лобанова лишали возможных оппонентов этого, казалось бы, вполне надёжного хода. Он апеллировал к русской классике.

В качестве образца “просвещённого мещанства” он представил чеховского профессора Серебрякова. “Десятки лет театры и критики высмеивают этого бездарного профессора, все-то знают цену этой посредственности, этому приживальщику в науке, а ему хоть бы что – по-прежнему он заведует кафедрой, “с надменным видом” изрекает учёные пошлости, пишет никому не нужные “труды”, величаво заседает, подписывает юбилейные “адреса” и т. д.” Люди, знающие историю более или менее основательно, не могли не поразиться: господство Серебряковых в наши дни? После того, к чему они привели полвека назад Российскую империю?! Но дальше – хлеще. На сцену выходит “сам” Степан Трофимович Верховенский. Цитата из “Бесов” Достоевского была не бровь, а в глаз: “Помните, как он написал нечто смелое – поэму, где все поют, даже насекомые и какой-то минерал. Эту поэму вдрут печатают “там, то есть за границей... Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург... Одним словом, волновался целый месяц, но я убеждён, что в таинственных изгибах своего сердца был польщён необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а потом прятал его под тюфяк...” Читавшие не могли не привести параллели с нынешними “Степанами Трофимовичами” вроде Евтушенко с его “Преждевременной автобиографией”, того же Окуджавы с изданным сборником песен в “Посеве”, да и с Солженицыным, о публикациях которого “за бугром” днём и ночью трубили зарубежные радиоголоса... “Кроме того, Степану Трофимовичу принадлежит ряд замечательных мыслей, вроде: “Я... всех русских мужиков отдам в обмен за одну Рашель”; “К тому же Россия слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда”. Конечно, в иных обстоятельствах Степаны Трофимовичи могут менять темы своих диссертаций, переваливаться на иной бочок своей “гражданской роли” – по многосторонности своей природы... Они и не представляют себе иной аудитории, как целое человечество, не народ какой-нибудь. Народ для них – это провинциально...” И опять же невозможно было не взглянуть в нарисованном портрете подлинные физиономии многих живых современников. Но это было бы ещё полбеда. Неприятно, конечно, но, поперхнувшись, проглотить можно. Суть же не



в отдельных личностях, а в явлении, обретающем на глазах характер массового захвата.

Примеры один жутче другого: жажда увидеть на кладбище Донского монастыря могилу не Чаадаева, не Ключевского — Салтычихи. “Действует поострее...” Монолог молодого музыканта, который в красках расписывает смерть своей жены в Боткинской больнице, наслаждаясь живописными “детальками”... Это уже не “отдельные случаи”. Это, как говорилось и писалось в то время, нечто “типическое”.

“Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации... Для него “общие” идеи — пустой звук, его греет только то, что можно попробовать на ощупь, что можно сегодня же реализовать на потребу брюха...” Духовное вырождение образованного человека, подмеченное ещё Чеховым, — утверждает Лобанов, — стало ныне массовым заболеванием. “Исторический смысл нации? Для мещанства это пустота... Мещанство... визгливо-активно в отрицании. В этом у него способности изощрённейшие, эрудиция современной — вплоть до ссылок на заклётых зарубежных “друзей”...

Зарубежные друзья были разные. Были и “заклятые” — те, к кому периодически апеллировала так называемая либеральная общественность: иные выходцы из неё пользовались её прямой поддержкой, не уставая при этом вещать о “социализме с человеческим лицом” и о необходимости властями “соблюдать собственную конституцию”. Другие пользовались предоставляемыми возможностями выпуска в издательствах, финансируемых Центральным разведывательным управлением США и подконтрольных ему организаций, своих сочинений, снабжённых предисловиями откровенных врагов советской страны с тем, чтобы потом, опуская очи долу, притворно или искренно покаяться за содеянное в советской печати (впрочем, сплошь и рядом шли откровенные “подставы” — вроде издания “на стороне” без какого-либо ведома авторами их книг, пересланных туда кем-нибудь из здешних “друзей” и “болельщиков”: так происходило и с Фёдором Абрамовым, и с Варламом Шаламовым, и с Александром Твардовским)... Лобанов полностью отдавал себе отчёт в том, что значит подобные “данайские дары”, как, впрочем, это прекрасно понимали все члены “Русского клуба”.

Другое дело, если судить по позднейшим воспоминаниям некоторых его участников, картина духовной жизни сообщества предстаёт в той или иной степени искажённой, что видно, в частности, на примере мемуаров Сергея Николаевича Семанова.

“...Мы все были горячими патриотами, горой стояли за советскую власть, ну, с патристическими поправками, конечно. Помню, я любил прилюдно шутить: вот Ленин говорил, что у нас советская власть с бюрократическими извращениями, а сегодня — с извращениями сионистическими. Все посмеивались, да ещё покруче высказывались... Запад и всю буржуазную сущность, и культуру мы нескрывая презирали, а ведь именно там был — официально! — главный враг страны”.

Проще всего сделать вывод (и он делается многими из тех, что мнят себя “серьёзными исследователями”) о сплошном “советизме” и патологическом “антизападничестве” всех без исключения представителей так называемой “русской партии”. Не говоря уже о том, что подобная характеристика вообще не применима ни к Илье Глазунову, люто ненавидевшему всех без исключения руководителей советского государства, начиная с Ленина, ни к Владимиру Солоухину, который публично выражал сочувствие расстреливаемым из пулемёта каппелевцам в кинофильме “Чапаев” (и схватившегося на этой почве врукопашную с Михаилом Бубенновым, однажды заоравшим в ответ Солоухину: “Так им и надо было!”). Эти слова Семанова с трудом применимы и к самому Семанову — при его восторженном отношении к руководителям “Белого движения”, которое недвусмысленно выражено в его дневниках конца 1960-х и которое осталось до конца его жизни. Достаточно прочесть запись от 9 февраля 1969 года: “Лавр Георг[иевич] (Корнилов. — С. К.) — герой, Ал[ексан]др Васил[ьевич] (Колчак. — С. К.) — рыцарь, Антон Ив[анович] (Деникин. — С. К.) — военачальник, Пётр Ник[олаевич] (Врангель. — С. К.) — вождь. Так я их и опишу. И присных”.

Это восхищение “белыми героями”, боровшимися в тогдашнем восприятии Семанова за “единую и неделимую Россию”, органически уживалось у автора дневника с “интеллектуальным сталинизмом” как средством “удержания”

государства от распада в размышлениях на ту же тему — сколько существовать Советскому Союзу: “Национальный вопрос — важнейший в Росс[ии]. Так наз[ываемое] право нации на самоопредел[ение] есть вещь с двумя полюсами, важна не только воля отделяющихся, но и настроение тех, от кого отделяются. Я не понимаю, почему у Архангельской губ[ернии] меньше прав на отделение, чем у губ[ернии] Эстляндской. Но будем логичны: разве не имеют права на отделение жители Вас[ильевского] о[стро]ва? Или даже части его — о[стро]ва Голодая? И, наконец, почему чья-нибудь дача у Сестрорецкого берега не может образовать независимую республику? Абсурд! (Этот абсурд правил бал в годы гражданской войны, что прекрасно было известно Семанову как историку. — С. К.) Но раз абсурд, значит самоопредел[ение] следует ограничить. Как же? Справедливый выход только в одном: учитываются интересы и отделяющихся, и остающихся...”

... Законность власти определяется временем, привычностью к ней народа. То есть восставать и бороться против Бланка (Ленина, по девичьей фамилии матери. — С. К.) — это есть борьба за восстановление законной власти, а бунтовать против Иосифа Виссар[ионовича] и его наследников — деяние греховное. В России были и будут благими лишь преобразования, осуществляемые сверху”.

Семановские взгляды разделялись далеко не всеми членами “Русского клуба”, не говоря уже о том, что характеристика его ближайшего окружения имеет весьма отдалённое отношение и к Вадиму Кожинову, и к Петру Палиевскому — автору лучших статей, опубликованных в 1950-е в советской печати о Грэмсе Грине и Уильяме Фолкнере (хорош “антизападник”)... Не говоря уже об Олеге Михайлове, с конца 1950-х переписывавшемся с представителями первой русской послереволюционной эмиграции (в частности, с Борисом Зайцевым и Александром Сионским), изучавшем творчество не только Ивана Бунина, но и того же Зайцева, и Ивана Шмелёва, первую книжку которого после долгого перерыва он издал со своим предисловием в 1960 году и чьи неизвестные творения (в частности, “Солнце мёртвых”) он читал в кругу своих друзей:

“То было другое время — другие большевики, первые. То были толпы российской крови, захмелевшей, дикой. Они пили, громили и убивали под бешеную руку. Но им могло вдруг открыться, путём неожиданным, через пустяк, может быть, даже через одно меткое слово что-то такое, перед чем пустяками покажутся все слова, лозунги и программы, требующие неумолимо крови. Были они свирепы, могли разорвать человека в клочья, но они неспособны были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватало бы “нервной силы” и “классовой морали”. Для этого нужны были нервы и принципы “мастеров крови” — людей крови не вологодской...”

Книги Бориса Зайцева, Владимира Набокова, того же Шмелёва Олег Михайлов получал от Сионского, о котором “Известия” в это время печатали весьма угрожающий материал.

“Пригретый в зарубежных антисоветских издательствах, главным образом в НТСовском листке “Русская мысль” и радиостанции “Свобода”, Сионский развил кипучую деятельность. Перед ним поставлена вполне конкретная задача: вести в Советском Союзе многотрудный поиск “интеллигентов, выступающих против Советской власти”, нащупывать в околотитературной среде лиц, именуемых в близких к Сионскому кругах “недовольными бунтарями”. Средства работы? Все хороши и, например — переписка. Она помогает раскрыть характер человека, выяснить его наклонности, сумму интересов и в конечном итоге позволяет сделать вывод — можно ли “закупить” ту или иную жертву, чем и когда “закупить”...

Он принадлежит к числу тех эмигрантов, которые до сих пор не оставили мысль въехать в Москву на белом коне...”

Понятно, что в реальности ни о какой “закупке” не могло быть и речи. Переписка Сионского с Михайловым (кроме него бывший руководитель контрразведки “Русского имперского союза” переписывался с Виктором Лихоносовым), длившаяся почти два десятилетия с начала 1960-х, вызывает чрезвычайный интерес, и многое в письмах “злейшего врага Советской власти” способно удивить по-настоящему.

“Я видел мадам Кутырину, и она мне рекомендовала выслать Вам следующие произведения Шмелёва: “Солнце мёртвых”, “Куликово поле” и “Старый

Валаам”. Эти книги уже у меня, и я их Вам вышлю несколько позднее, а сегодня, одновременно с этим письмом, вышлю Вам “Древо жизни” Б. К. Зайцева.

Кроме того, я достал для Вас книги: 1) “Весна в Фиальте” и 2) “Другие берега” Набокова, они уже тоже у меня, и я вышлю их, вероятно, в течение следующей недели.

Если можете, то вышлите мне произведение Кочетова “Братья Ершовы”. Я читал критику на это произведение, но здесь достать не смог, или что-либо из беллетристики по вашему выбору...

... На этих днях вышлю Вам книгу “Юность” Б. К. Зайцева, который просил передать Вам его сердечный привет.

С А. И. Куприным мы однокашники и учились в Москве, которую я всегда любил и обожаю сегодня со всеми её причудами, разнообразием и особым московским духом.

Вспоминаю свою юность с прогулками зимой на лыжах в Петровском парке, московские катки, как и теннисные площадки на Девичьем поле, свидания и прочие невинные шалости молодости.

Ваши письма — какая-то нить, которая связывает и напоминает мне о Москве.

Два года тому назад имел огромное удовольствие быть на спектакле Московского Художественного театра. Какое бессмертие!..”

... Конечно, Москва сильно изменилась. Кое-какие карточки и альбом, который я получил в подарок от Зуевой, артистки Московского Художественного театра, дают мне представление о нынешней Москве. Я жил, вернее, приходил в отпуск к моей бабушке, жившей в районе Арбата — Смоленского рынка. Там, кажется, сейчас большие перемены. Да и Лефортово тоже, кажется, поменялось. Я воспитанник 2-го Московского кадетского корпуса, и с А. И. Куприным мы однокашники по этой школе. Но нас разделяет время выпусков — почти четверть века...

В России я с ним не встречался, но познакомился здесь, в Париже. В общем, он был обаятельным человеком, всегда приветливый, с улыбкой через какую-то далёкую грусть, которую можно было прочесть в выражении его уже выцветших серо-голубых глаз. У него было лишь одно забвение — далёкая родная русская земля. Вероятно, ради этого забвения он отправился домой. Мы невольно говорили: решил ехать умирать на родной земле; и побаивались, чтобы смерть не случилась в дороге.

Читаю с интересом “Братьев Ершовых” Кочетова. Он талантлив и при некоторых обстоятельствах, по-моему, способен на глубокое жизненное произведение. Его диалоги создают полное впечатление нынешней психологии народа, его жизни, как и отдельных личностей. Они могли бы быть сильнее, если их углубить по духу “Не хлебом единым”. Роман Дудинцева я читал, он у меня есть и имеет большой успех.

Обидно и досадно, когда порою нереальная и утопическая действительность создаёт пропасть между людьми одного благородного русского языка и одной культуры. Понять это — не значит простить, но приблизить день блестящего будущего нашей общей Родины.

В этом существо и проблема будущего...

“Сердечно благодарю за “Каплю росы”. Уже начал её читать и нахожу, что В. Солоухин художественно передал картинки России и незабываемые поездки на дровнях зимой. Я отчётливо переживаю всё это и благодарю за доставленное удовольствие перенестись к себе на Родину”.

... Передо мной журнал “Юность”, где я прочёл Вашу очень глубокую по мысли статью “Нашей молодости споры”. Она обратила на себя внимание и наших критиков. И я посылаю Вам отзыв о Вашей статье — вырезку из газеты “Русская мысль”. Я думаю, что Вам будет интересно прочесть её. Однако я не совсем согласен с ней, так как она написана с эмигрантской точки зрения, но не с точки зрения того жизненного процесса, который происходит у Вас. И особенно среди молодёжи.

Сейчас у нас в Париже очень много читают три советских журнала: “Новый мир”, “Юность” и “Огонёк”. По этим журналам мы как-то можем ориентироваться о вашей жизни. Вообще должен сказать, что в литературе у вас чувствуется большой сдвиг...

Понятно, что переписка вызвала пристальное внимание соответствующих служб. Один представитель Комитета государственной безопасности даже

заявился к Михайлову на квартиру для профилактической беседы. Профилактики не получилось – Михайлов уселся к телевизору смотреть хоккей под полдюжины “Жигулёвского” и пообещал поговорить с визитёром после просмотра... На следующий день разговор-таки состоялся, и Олег Николаевич категорически отказался “прекратить переписку”, а на заявление визави, что Сионский высылает в Россию зарубежные издания “на средства ЦРУ”, ответил, что он сам, как специалист по литературе русского зарубежья, обязан эту литературу знать, и ему, соответственно, необходимы отсутствующие даже в спецхране “Ленинки” книги Бунина, Куприна, Замятина, Набокова и других писателей первой русской послереволюционной эмиграции. Беспартийный, не обременённый никаким чиновничьим постом, легально издающий книги в советских издательствах и не печатающийся “за бугром” Михайлов был неуязвим. Максимум, что мог ему сказать на прощание комитетчик, – это пожелать “сохранять достоинство советского человека”.

... И в это же самое время на советском телевидении демонстрировались фильмы, где бывшие враги, “белые” офицеры, предстали в образах умных, красивых, достойных противников. Историческая правда, по сценариям и режиссёрским разработкам, была, разумеется, за “красными”. Но с каким ощущением трагизма свершающегося играли Игорь Горбачёв роль Александра Якушева, Людмила Касаткина роль Марии Захарченко и Донатас Банионис роль Эдуарда Стауница (Опперпута) в фильме “Операция “Трест”! И напряжённю следя за приключениями капитана Кольцова в “Адьютанте его превосходительства”, советский зритель не мог не проникнуться своеобразной правдой образа генерал-лейтенанта Ковалевского в исполнении Владислава Стржельчика (прототипом его был генерал Май-Маевский, запойный алкоголик, чего в помине не было в сценарной разработке образа!), не посочувствовать трагедии ротмистра Волина в исполнении Олега Голубицкого, не задуматься над поведением ювелира Исаака Либерсона в потрясающем исполнении Бориса Новикова, Либерсона, сдающего чекистам своего собрата по ремеслу – русского ювелира Федотова.

Писатели, собиравшиеся и общавшиеся в “Русском клубе”, пытались своими силами решить задачу восстановления связи времён, засыпать “пропасть между людьми одного языка и одной культуры”, о чём писал Сионский. Они прекрасно понимали, что идеологические “устои”, на которых почти полвека стояло государство, подточены и готовы обрушиться. Более того, прекрасно осознавали чужеродность исторической России многого в этих “устах”. Разумеется, речь не шла и не могла идти о желании какого-либо государственного переворота – слишком хорошо (даже на уровне инстинкта) молодые русские патриоты понимали разрушительность подобного рода упований (и в этом они резко отличались, в частности, от членов подпольного “Всероссийского социального христианского союза освобождения народа” во главе с Игорем Огурцовым, члены которого, уже арестованные, начали своё тюремно-лагерное хождение по мукам. Кстати сказать, этот процесс, в отличие от процесса Синявского-Даниэля и других “диссидентских процессов” этого времени, не вызвал практически никакого отклика на Западе, никаких солидарных с осуждёнными акций, о чём с удовлетворением докладывал в ЦК КПСС новый председатель Комитета государственной безопасности Юрий Андропов: “Данные о практической враждебной деятельности участников “ВСХСОН” в ходе судебного процесса не получили широкой огласки. Отдельные слухи о нём, распространившиеся за рубежом, являлись домыслами буржуазных корреспондентов, которые, вследствие продвинутой заранее через возможности Комитета госбезопасности в западную прессу выгодной для нашей страны информации, не имели сенсационного значения”).

Они рассчитывали на то, что их познание всей отечественной истории, не замутнённое никакими “марксистско-ленинскими” догмами, и их труды, основанные на этом познании, произведут переворот интеллектуальный, окажут необходимое влияние на властные идеологические структуры, необходимое духовное сопротивление новым революционерам, апологетам “далёкой гражданской” во всех областях жизни, потомкам “мастеров крови”, которые, говоря о патриотизме, не упускали случая прибавить к нему эпитет “квасной”.

... Резонанс от молодогвардейских публикаций был оглушительный.

Ближе к финалу статьи “Просвещённое мещанство” Лобанов подошёл к самому главному: он писал об опасности, которая нависла не только над Отечеством.

“Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу для творческого гения народа. Что же тогда оставляет народ в памяти человечества? Когда нация не застыла ещё в определённых формах, когда внутренние силы её мощно бродят, пусть потенциально, тогда есть историческая надежда. Но может ли она быть, когда нация нивелируется в стандарте самых несложных прагматических идеалов и потребностей? Это упрощение заразительно в нынешнем мире. Американизм духа поражает другие народы. Уже анахронизмом именуется национальное чувство. Какие там могут быть судьбы народов, когда, по словам одного зарубежного социолога, Европа не что иное, как “единый индустриальный организм”, где взаимосвязь разноплеменной массы целиком определяется технико-организационными факторами. Интеграция – вот слово, которым эти ревнители “единого организма” хотели бы духовно просветить народы, заражённые национальным “анахронизмом”. Так интегрировать, чтобы начисто соскоблить этот дикий пережиток национального, народного, чтобы перемещать всех во всеобщей индустриальной пляске. Чтобы ни духа, ни памяти о прошлом, ни самого языка не осталось от этих самых народов, без всего этого груза куда успешнее будет регулирование “единого организма”. Ничего, что с такой “интеграцией” в народах исчезнут атлантиды самобытной культуры, что вместо красочного луга, усеянного цветами, вытянется что-то вроде голого асфальтированного шоссе, что нивелировка породит гибельную для творчества стандартизацию.

Рано или поздно смертельно столкнутся между собой эти две непримиримые силы: нравственная самобытность и американизм духа”.

Конечно, не вороновская статья заставила Лобанова заговорить о том роковом рубеже, к которому ведёт не только русскую, но и мировую цивилизацию игнорирование описанной социальной опасности. В зеркале лобановской статьи мог увидеть свою реальную физиономию тот же Померанц, а вместе с ним и множество других интеллектуалов и государственных и партийных деятелей. Но тут-то и встала трудноразрешимая проблема, на поверку оказавшаяся и вовсе не разрешимой. Что было делать с авторами комсомольского журнала, которые, презрев всякие лозунги о нерушимом единстве всех групп населения в бесклассовом обществе социалистического отечества, указывают на реальную силу, подтачивающую ствол государства? Игнорировать сказанное? Заткнуть говорящим рот? Никакого реального повода для жёстких мер по отношению к себе они не давали. Но говорили и писали о том, что представлялось многим совершенно нетерпимым в атмосфере только что прошедшего юбилея Великой Октябрьской революции и в преддверии 100-летия со дня рождения Ленина.

\* \* \*

29, 30 и 31 мая 1968 года в Новгороде состоялось долгожданное событие – научная конференция “Тысячелетние корни русской культуры”, организованная Всероссийским обществом охраны памятников, формально приуроченная к столетнему юбилею установки в городе памятника Микешина “Тысячелетие России”.

Но прежде чем вести разговор об этой конференции, хочется добрым словом вспомнить человека, благодаря которому и состоялся этот праздник в древнем русском городе.

Павел Васильевич Кузьменко, бывший председатель исполкома города, незадолго до события переведённый на должность заместителя председателя. Едва ли кто из сослуживцев, тем более из собравшихся на торжество писателей и деятелей культуры имел представление о чрезвычайно насыщенной и не менее драматической его биографии. Коренной ленинградец, он с 1944-го по 1946 год занимал должность заведующего Организационно-инструкторского отдела Ленгорисполкома, входил в ближайшее окружение председателя Ленсовета Попкова. В 1948-м был направлен в Рязань на должность 2-го секретаря областного комитета ВКП(б). 17 октября 1949 года был

арестован по “Ленинградскому делу” (как многие и многие выходцы из Ленинграда, отправленные на партийную работу в другие города России), приговорён к 25 годам заключения, освобождён в 1954-м и после освобождения и реабилитации направлен на работу в Новгород.

Едва ли можно сомневаться в том, что конференция, организованная его стараниями, была для него во многом исполнением тех чаяний, что бродили в умах молодых ленинградских партийцев послевоенных сороковых, той “русской партии”, разгромленной и уничтоженной, так и не возродившейся после ни в каких партийных структурах. Это было его последнее деяние на этой земле, благодаря которому он, думается, заслужил благодарную память потомков. В том же 1968 году Павел Васильевич ушёл из жизни.

Как это часто бывает, иные люди, приложившие немалые усилия к организации давно чаемого, бывают сплошь и рядом недовольны результатом; так это произошло с Владимиром Десятниковым. Во время конференции он записал в своём дневнике:

“30 мая 1968 г. Научная конференция “Тысячелетние корни русской культуры” в Новгороде, по замыслу её организаторов из Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников, должна была собрать цвет русской нации. И право, такой случай один раз в тысячу лет выпадает. Здесь не только Академия наук, а всё правительство в полном составе должно было быть. Мы выстояли и победили в самой кровопролитной войне, мы спасли человечество от фашистской чумы. Мы понесли неисчислимые жертвы. У нас нет такой семьи, которую обошла бы стороной война. В огне пожаров были разрушены тысячи городов и сёл. Мы в одиночку, без чьей-либо помощи восстановили народное хозяйство, вернули к жизни наши памятники истории и культуры. Мы – великая нация, тысячу лет исповедующая Православие. Нам есть что помянуть, есть чем гордиться, и прозвучать это должно было на весь мир. А что на деле вышло? Да ничего особенного – рядовые посиделки доброхотов Общества музейщиков и краеведов. Темы докладов, завизированных в ЦК КПСС, так робко были обозначены, чтобы, не дай Бог, кто-то выпал из идеологической колеи. На пленарных заседаниях, проходящих в Новгородском кремле, всё строго, как на партийной конференции. Никому слово нельзя сказать с места. Выступают лишь те, кто значится в списке. Всё проходит тихо, гладко, бесцветно и верноподданнически, никто из ораторов даже и не пытался голос возвысить в защиту русских национальных святынь. В набат надо было бить на Софийской звоннице, но ведь она-то бутафорская... Накануне отъезда в Новгород я позвонил М. А. Шолохову, как мы и договаривались. Его помощник сказал, что Михаил Александрович заболел. Л. М. Леонов тоже не смог поехать. Хотя я и не имел никаких полномочий от Центрального совета Общества охраны памятников, тем не менее, будучи составителем сборника “Памятники Отечества”, я направил А. И. Солженицыну как одному из авторов сборника программу научной конференции “Тысячелетние корни русской культуры”. Уверен, что если бы он приехал в Новгород, то ему, так или иначе, слово было бы дано. Видя никчёмность по-чиновничьи проводимой научной конференции, многие демонстративно покидали зал заседаний. Благо в Новгороде есть куда пойти и есть что посмотреть. Мы с В. А. Солоухиным предложили И. С. Козловскому и И. В. Петрянову-Соколову поехать с нами, чтобы поклониться могиле матери С. В. Рахманинова, похороненной в 1929 году у церкви Рождества-на-Поле.

А вообще-то, если строго говорить, то Солженицын, пожалуй, не поехал на Новгородскую конференцию, потому как предвидел, что придётся “западный сук” рубить, на котором он сидит и расчётливо двигается – то влево, то вправо. В Новгороде, ограбленном оккупантами и превращённом в руины, обязательно надо было говорить о Европе, которая, по словам Пушкина, всегда была в отношении России столъ же невежественна, сколь и неблагоприятна. Что-то не нашлось в высокообразованном, респектабельном и таком гуманном западном мире, к примеру, любителей изящной словесности, кто принял бы участие в восстановлении пушкинского Михайловского, державинской Званки, толстовской Ясной Поляны, грибоедовской Хмелиты, тургеневского Спасского-Лутовинова, чеховского Мелихова, Старой Руссы Достоевского – и ещё десятков других центров русской культуры, безжалостно разрушенных войной, пришедшей к нам с Запада... Кстати, почему никто не поднимет вопрос об ущербе, причинённом Козельску и его святыням во время войны?

Ведь город со всемирно известными Оптиной и Шамординской пустынями был на линии фронта. Вот если бы от наших бомбардировок в Веймаре сгорело несколько домов, где у друзей бывал Гёте, тогда газетчики всего мира заклеямили бы нас, обвинив в варварстве. И обязательно подписку объявили бы на восстановление порушенных домов. А то, что “цивилизованные” немцы и их союзники творили в России, никого по большому счёту не колышет”.

Честно говоря, соглашаясь со многим, трудно понять раздражение Десятникова самой конференцией. Ведь совершенно иные впечатления остались от этого действия у многих и многих. В частности, у молодого театроведа, ленинградца, приглашённого в Новгород его близким другом Сергеем Семановым, Марка Николаевича Любомудрова. Почитаем записи и из его дневника:

“Эта конференция – событие историческое. По сути, это первый за последние пятьдесят лет на Руси съезд русских людей с целью обсудить судьбу России и русской культуры, судьбу нации. Именно так и развёртывалась конференция, в этом был пафос лучших выступлений: Палиевского, Кожина, Волкова, Семанова, Афанасьева, знаменитого тенора Ивана Козловского и других.

Необходимы заслоны, и уже не только оборона, но и наступление ради защиты Руси...

О необходимости наступательного духа в пропаганде национальных ценностей говорил академик Петрянов. Он выступил против названия Общества, справедливо указав, что слово “охрана” имеет пассивный характер.

Зам. predisполкома Новгорода П. Кузьменко говорил о продолжающейся гибели ряда ценных памятников в городе. О попытке издать репродукции русских икон, отвергнутой издательством: усмотрели опасность пропаганды религии (!). Рассказал о том, как один американец, которого в России обслуживали по “люксу”, предлагал любые деньги за возможность переночевать в бывших покоях архимандрита Юрьева монастыря. А покои эти разорены, не оборудованы.

Д. С. Лихачёв сделал интересный доклад, но уж слишком академический – ни одного прорыва в современность. Все ограничилось призывом сделать Новгород центром исторического образования.

Потом вышел на сцену Ив. Козловский. Говорил бессвязно, сбивчиво, но с чувством, с болью и тревогой за славянские ценности, культуру. Резко – о памятнике матери-Родине на Волоколамском шоссе, на котором он увидел однажды пионерский галстучек, – оскорбление святыни! Жаловался на снятие “Князя Игоря” в Большом театре, критиковал статью Зимина, опровергающего принадлежность “Слова о полку Игореве” XII веку. Говорил об уничтожении русской природы, озера Байкал. И в заключение спел “Сейте разумное, доброе, вечное...” под аккомпанемент роаяля.

С выступлением Козловского славянский дух, запёртый до этого в сердцах, вырвался на простор. Кожин и Палиевский говорили почти откровенно. Кожин оперировал Пушкиным, его словами о Радищеве: слабоемное изумление перед своим веком и презрение ко всему прошедшему... Центр его речи – в призыве не только охранять церковные памятники, но и вспомнить о церковной литургии православной, в которой много поэзии, – это прекрасная опера (молодец, бестия! Сумел призыв в защиту религии облечь в очень обдуманные термины, исключающие возможность провокационных наскоков).

Наиболее интересен, пожалуй, Палиевский. Его смелая идея: взрыв талантливых людей на Руси на рубеже XIX–XX веков связан с тем, что народ как бы в предчувствии катастрофы, грядущей бездны накапливал ценности, чтобы их перенести с одного берега пропасти на другой. Пётр опровергал устарелое, по его мнению, представление, будто искусство России того времени было только критическим. Нет – “Воскресение” (роман Толстого) – его суть в воскресении, а не в срывании всех и всяческих масок.

Палиевский привёл любопытную цифру: в 1886–1900 г<одах> было основано 9 тысяч церквей и монастырей (!). Поднял на щит Менделеева, Василия Розанова и его “Опавшие листья”. Процитировал абзац, где Розанов говорит о современном ему образовании: большинство выходит из школы, зная лишь то, что у человека 32 зуба и 24 ребра.

На следующий день наиболее значительным было выступление писателя О. Волкова (к слову, он просидел в советских лагерях 28 лет). Он всё назвал

своими именами – надо поднимать, возвращать национальное самосознание русских граждан Советского Союза, вернуть величие и культуру Русского государства. Протестовал против отождествления русского национального сознания с великодержавным шовинизмом!

Господи! Как замечательно, что слова эти можно было услышать публично, при большом скоплении людей! Беспощадно высек политику власть предержащих в области национальной культуры архитектор Афанасьев: Дворец съездов чужероден Кремлю, гостиница “Россия” своим масштабом подавила Кремль, сделала его игрушечным и т. д.

Познакомился с группой прекрасных московских парней – это они стоят у колыбели “Общества охраны...” и данной конференции. Кроме Палиевского и Кожина, это Игорь Кольченко, Дмитрий Жуков, Святослав Котенко, Урнов и другие. Ребята мыслящие, инициативные, искренне озабоченные судьбой России.

Я придаю конференции исключительное значение: это зачатие движения, которого сегодня ждут все лучшие люди России. Если удастся ещё пробить журнал – его предполагают назвать “Отечество”, – то движение будет крепнуть более быстрыми темпами. Призыв к организации журнала раздавался почти в каждом выступлении.

В кулуарных беседах выплеснулось множество проблем, вопросов, которые сегодня существуют в нашей действительности. Это русские и жида; интеллигенты и интеллектуалы; левые и правые; очищение от клеветы национальной культуры и искусства; отношение к властям; что понимать под национальными русскими ценностями. Единства в понимании всех этих сложнейших проблем нет”.

Единства, на самом деле, не было, были жарчайшие споры в кулуарах, которые прорывались и в самих публичных выступлениях. Так, Кожин, в частности, в своей речи неявно опровергал многое, о чём вещалось в стенах Высокопетровского монастыря.

“Во многих работах и, естественно, в представлениях людей, нередко получается так, что образуется своего рода непроходимая грань между древней русской культурой и культурой послепетровской, культурой XIX и XX веков... Во многих работах и, естественно, в представлениях людей подлинно национальной считается по преимуществу допетровская культура, то есть, прежде всего, древние храмы и терема, иконы и фрески, песни, сказки, былины, а в культуре XIX–XX веков национальные черты как бы замутнены, ослаблены, подлинно национальным нередко признаётся лишь то, что непосредственно, подчёркнуто перекликается с древними традициями зодчества, живописи, с устным народным творчеством. Приходилось сталкиваться с тем, что, например, поэт Кольцов признаётся глубоко национальным, ярко воплотившим в своём творчестве собственно русские черты, а его современник Тютчев рассматривается как поэт, в творчестве которого как бы стёрты и нивелированы национальные признаки... Мы нередко разрываем древнюю и новую русскую культуру и не чувствуем глубоко национальной природы новой культуры”.

И далее Кожин заговорил о Пушкине, выражая явное недоумение: как так получается, что в книгах о Новгороде и Пскове совершенно не упоминается, что именно на этой земле обрёл зрелость гений Пушкина, что между его творчеством и древней культурой Новгорода и Пскова “существует глубочайшая связь”, что в Михайловском он читал карамзинскую “Историю государства российского”, летописи, собирал на ярмарках русские народные песни, которые “становятся фундаментом знаменитого собрания Петра Киреевского”.

“Пушкинская эпоха, – продолжал литературовед, преобразавшийся в историка, – это эпоха становления русской культуры как непосредственно мировой культуры. В то же время Пушкинская эпоха явилась эпохой национального возрождения. Может быть, это звучит странно, потому что у нас нет канонической концепции мировой культуры”.

И, наконец, Кожин, вяжущий связь времён вопреки всем линиям – официальной, “подпольной”, линии многих своих “соратников”, – переходит к главному, ключевому моменту своего выступления:



“Мы, наконец, кажется, уяснили для себя совершенно ясно и неопровержимо, что архитектура древних храмов и живопись икон — это произведения, в которых воплотилось целостное мироощущение народа, что это не чисто религиозная культура. До сих пор как-то не признано, что подлинная культура, и культура именно целостная, воплощающая дух народа, содержится и в том, что наполняло эти стены, — в том, что можно назвать православной литургией, тем действием, которое совершалось в бережно сохраняемых нами стенах.

Исследователями доказано, что русская православная литургия представляет собой трансформацию древнегреческой трагедии (в особенности пасхальная литургия), что она прямо идёт от этого великого искусства театра, и, в сущности, православная литургия есть возвышенная опера, известная сейчас только по записям пения Шаляпина, исполняющего несколько частей православной литургии. А между тем на Западе издан целый ряд работ о православной литургии, которая ставится неизмеримо выше, чем католическое богослужение”.

Достойным финалом речи стало кожиновское исполнение строк из набросков черновой главы “Евгения Онегина”:

*“Блажен, кто понял голос строгий  
Необходимости земной,  
Кто в жизни шёл большой дорогой,  
Большой дорогой столбовой...  
Онегин едет, он увидит  
Святую Русь: её поля,  
Пустыни, грады и моря...  
Среди равнины полудикой  
Он видит Новгород Великий.  
Смирились площади — среди них  
Мятежный колокол утих...  
И вокруг поникнувших церквей  
Кипит народ минувших дней...”*

Это можно сказать и сейчас, — вспомнив Бахтина, — заключил он. — Да, церкви поникли и колокол утих. Но прошлое не умирает. Оно только превращается в настоящее и будущее...”

Эта речь была через год опубликована в “Молодой гвардии” — и это было одним из очень немногих творческих соприкосновений Кожинова с этим журналом. Но впечатление от этой публикации было громоздкое.

Власть имущие смотрели на всё как бы со стороны. Невозможно было продолжать хрущёвскую оголтелую политику в отношении культурного и религиозного наследия. И так же невозможно было проявить свою солидарность с этим новым, набирающим силу интеллектуальным потоком. Всё словно замерло в каком-то напряжённом ожидании.

\* \* \*

На самом деле забот у власть имущих в это время было гораздо больше. Внешняя политика их требовала ничуть не меньше, чем внутренняя. “Холодная война” выходила на новый пик.

1968 год — это год студенческих демонстраций во Франции, организованных и проплаченных людьми, непосредственно связанными с ЦРУ США (как об этом потом вспоминали “бывшие” сотрудники этого славного ведомства). Шарль де Голль (переживший 32 покушения) давно был бельмом в глазу у американцев, а выход Франции из военной организации НАТО по его инициативе, отказ от международных расчётов в долларах и осуждение Израйля за Шестидневную войну стали последними каплями, переполнившими чашу (при этом протестовавшее население было обуреваемо исключительно личными экономическими соображениями, требуя 40-часовой рабочей недели, 60-летнего пенсионного возраста и 1000-франковой минимальной зарплаты).

Де Голлю удалось устоять, но ненадолго. Через год он покинет пост президента страны.

Продолжается агрессия США в Северном Вьетнаме, против которой проходят демонстрации по всему миру (в этом же году население многих стран было потрясено зверством американских солдат, истребивших население деревни Сонгми). В самих Штатах сменяют друг друга расовые волнения. Убит моральный лидер чёрного населения – Мартин Лютер Кинг.

И – день ото дня не легче – начал давать трещины “социалистический лагерь”. Началось всё с Польши, когда цензура запретила в одном из варшавских театров дальнейшую демонстрацию спектакля по пьесе Адама Мицкевича “Дзяды”, выдержанного в предельно антирусской тональности. Дошло до того, что первый секретарь Польской объединённой рабочей партии Владислав Гомулка назвал этот спектакль “ножом в спину польско-русской дружбы”. Студенческие волнения, разразившиеся в связи с этим запретом сначала в Варшаве, а потом и в других городах, подавлялись жёстко и беспощадно. Более того, Гомулка, всегда лояльно относившийся к созданию еврейских организаций в Польше (он сам санкционировал создание частных еврейских кооперативов), имел возможность убедиться, что, по его словам, “агрессия Израиля была встречена аплодисментами в сионистских кругах польских евреев”, после чего объявил войну “империалистически-сионистской пятой колонне” (реально существовавшей) и призвал всех, кто считает, что эти слова относятся лично к нему, “покинуть Польшу” (кстати, близко ничего подобного не было в Советском Союзе. Напротив, стремившихся уехать пытались удержать либо уговорами, либо административными мерами).

В апреле 1968 года Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины и член Политбюро ЦК КПСС Пётр Шелест записывал в дневнике:

“Международная обстановка накалена до предела. Очень сложное и напряжённое положение в Чехословакии, Польше, Румынии и Югославия занимают самостоятельную, далеко не определённую позицию, чем создают большие осложнения. В Европе заметно оживил свою деятельность сионистский центр, который, по всем данным, находится в Брюсселе. В него входят 36 европейских групп, крупные банкиры, промышленники, учёные. Профессор философии Брюссельского университета Хайн Перельман и израильский посол в Бельгии, по существу, руководят сионистским центром и всей пропагандистской кампанией против Польши. На В. Гомулку бешено обрушилась вся мировая печать сионистов. Его всячески поносят, критикуют, помещают разного рода карикатуры. В США и Израиле ведётся подготовка к тому, чтобы после окончания войны во Вьетнаме или снижения её активности им вплотную заняться Восточной Европой. Родилась теория “наведения мостов”: при помощи этих “мостов”, утверждает враждебная пропаганда, произойдёт “необратимый распад социалистического лагеря”...”

Ситуация была критической, но, видя решительные действия польского союзника, советская власть решила, что это “внутренняя жизнь” сопредельной страны, хотя предельное напряжение международной обстановки было напрямую связано с этой “внутренней жизнью”.

Совершенно иную реакцию вызвало у руководителей Советского государства происходящее в Чехословакии. Но там и события развивались совершенно иначе.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии словак Александр Дубчек, избранный на свой пост при абсолютно благожелательном отношении советского правительства, объявил о построении “социализма с человеческим лицом”, но никаких реальных реформ провести не смог. Время было потрачено на делёж кресел, которым занималось его окружение. Единственное, что он сделал, – упразднил цензуру. В результате средства массовой информации вещали без всяких стеснений:

“Закон, который мы примем, должен запретить всякую коммунистическую деятельность в Чехословакии. Мы запретим деятельность КПЧ и распустим её. Мы сожжем книги коммунистических идеологов – Маркса, Энгельса, Ленина” (журнал “Млада фронта”, орган чехословацкого комсомола).

“Коммунистическую партию Чехословакии необходимо считать преступной организацией, которой она действительно всегда была, и выбросить её из общественной жизни” (“Литерарни листы”).

Лиха беда начало. Потом появились требования выхода страны из Варшавского договора, ориентации на США и страны Западной Европы, и, наконец, чехи и словаки читали в своей прессе прямое требование к Советскому Союзу – передать “союзнику и другу” Закарпатье.

Создавалось недвусмысленное впечатление, что Дубчек полностью утратил контроль над ситуацией, что он безвольно плывёт по течению, сдавая позицию за позицией “демократам с человеческим лицом”, вроде Иржи Пеликана, Йозефа Сморковского, Эдуарда Гольдштюккера, в своё время, в 1948-м, уничтоживших по повелению Москвы представительную демократию у себя в стране, а ныне перекрашивающихся на глазах в столь же бескомпромиссных антикоммунистов. И это было бы ещё самым невинным объяснением происходящего, если учесть, что демонтировались все укрепления на границе с Федеративной Республикой Германии и что начали создаваться лагеря для арестованных коммунистов, сопротивляющихся “Пражской весне”.

Лишь чуть больше десяти лет прошло с кровавых событий в Венгрии, начавшихся с митингов в “Клубе Петефи”... Из самой Чехословакии, из недр компартии шли потоком в СССР сигналы, что со всем этим пора кончать. Об этом же сигнализировали советскому правительству представители Польши, Венгрии и Болгарии...

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (в отличие от своего предшественника) делал всё возможное, чтобы избежать не то что резких движений, но даже тех или иных решительных действий (уже поэтому ни о какой полноценной “реабилитации Сталина”, в которой его подозревала радикальная интеллигенция, не могло быть и речи). Он (вместе с ближайшим окружением) оттягивал принятие решения до последнего и решился на ввод войск (вместе с другими странами Варшавского договора) только тогда, когда стало совершенно очевидно: медлить больше нельзя.

Благодаря президенту ЧССР Людвигу Свободе и министру обороны Мартину Дзуру (оба воевали с немцами во время 2-й мировой) армия осталась в казармах. Абсолютное большинство населения также не выступило против “вторжения”, не удалось – вопреки всем призывам – и организовать всеобщую бессрочную забастовку (похоже, слишком многих успел “достать” этот “социализм с человеческим лицом”). Цель была достигнута: Чехословакия осталась членом СЭВ и организации “Варшавский договор”.

Отечественная либеральная интеллигенция билась в припадках возмущения, помяная Герцена, Чаадаева и других своих кумиров. 8 человек вышли на Красную площадь на демонстрацию протеста, которая продлилась 10 минут и была разогнана сотрудниками спецслужб. Вездесущий Евгений Евтушенко написал и пустил по рукам тут же ставшее знаменитым в узких кругах стихотворение “Танки идут по Праге...”, где объявил самого себя “раздавленным” русскими танками. Что же касается наших героев...

Одни из них, не тяготясь никакими сомнениями, полностью поддерживали шаги советского правительства. Сергей Семанов записывал в дневнике:

“Либеральная возня в Чехии очень надоела. Но в политике один критерий – успех. А теперь успех операции 21 августа для наших несомненен. Они напомнили, что миндальничать не станут, и в какой-то мере восстановили утраченный свой престиж. И ещё: они показали своим колониальным приказчикам, что *в минуту жизни трудную* не выдадут их. А что касается до всех этих либеральных вспышек в Чехии, то всё это рано или поздно перемелется, и глядь, лет через 10 те же чешские части будут вместе с нашими подавлять антирусское выступление где-нибудь в Варшаве или Бухаресте! (Семанов, видимо, имел в виду Венгрию, где ещё недавно был подавлен антикоммунистический мятеж и которая отравила в августе 1968-го в Чехословакию свои военные соединения наравне с советскими, польскими и болгарскими, причём венгры без колебаний стреляли – в отличие от советских солдат – в чехов, оказывавших физическое сопротивление. – С. К.)

...Англичане, создавшие парламент и великую империю, верно говорили: права моя страна или нет, но это моя страна. А разве Англия всегда была права? В бурской войне, например, или в Ирландии? У нас, русских, а у русских интеллигентов особенно, слабо развито чувство национальной гордости”.

Другие русские патриоты, не доверяя до конца пропагандистским материалам, публикуемым в советской прессе, в своём большинстве признавая необходимость такого шага (помятая, кстати, подавление русскими войсками венгерской революции 1848 года), не могли не думать о последствиях произошедшего для внутренней жизни. Сергей Бочаров вспоминал о состоянии Кожина в те дни, сравнивая его реакцию с реакцией на венгерские события 1956 года, когда молодой Вадим был настоящим либералом и антигосударственником, когда он произносил совершенно невозможную для себя впоследствии фразу: “Ну, уж в патриотизме меня никто не сможет упрекнуть!” “Это было в 56-м. А в 1968 году события в Чехословакии он воспринимал уже иначе и на эту тему обычно молчал”.

Молчание это было напряжённым и раздумчивым. Сознание необходимости подобного государственного шага парадоксально совмещалось с его внутренним неприятием. У Кожина было много друзей среди чешских и словацких филологов, периодически принимавших участие в конференциях, организуемых Институтом мировой литературы, и он не мог не думать о том, как теперь они отнесутся и к нему, и к его московскому литературному окружению, отождествляя своих недавних сотоварищей и собеседников с государственной машиной, введшей войска. Ранее регулярно посещавший в Чехословакию для участия в совместных симпозиумах, Кожин больше не приехал туда ни разу, время от времени отказываясь от предложений начальства отправиться в творческую командировку.

*(Продолжение следует)*